

[roman]

Дёрдь
Шпиро
Дьяволина
Горького

CoRpus



Именно тогда я обратила внимание на это его качество: он умел лгать, говоря правду, и мог прикрывать чистую правду туманом завиральных идей.

Дердь Шпиро Дьяволина Горького

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=39408803

Дьяволина Горького: роман / Дёрдь Шпиро: АСТ : CORPUS; Москва;

2019

ISBN 978-5-17-982690-3

Аннотация

Роман известного венгерского прозаика и драматурга Дёрдя Шпиро построен как фиктивные воспоминания Липы – Олимпиады Дмитриевны Чертковой (1878–1951), свидетельницы жизни Горького на протяжении десятилетий, медсестры и его последней любимой женщины (Дьяволина – ее итальянское прозвище, полученное в Сорренто). Удачно найденная форма позволила показать всемирно известного писателя глазами близкого ему человека изнутри его многолюдного дома, в котором, наряду с домочадцами, любовницами и приживалами, появляются известные деятели культуры и исторические лица от Саввы Морозова и Ленина до Зиновьева, Сталина и Ягоды. Горький, увиденный глазами Шпиро, фигура достойная сожаления, но все же трагическая: человек, полагавший, что с его авторитетом можно, идя на компромисс с властью, переиграть ее.

Дердь Шпиро

Дьяволина Горького

Spiró György

Diavolina

Издание осуществлено при поддержке Министерства внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии и Венгерского культурного центра в Москве

Переводчик благодарит за содействие фонд Венгерский дом переводчиков

© György Spiró, 2015

© Magvető Könyvkiadó, Budapest, 2015

© József Pintér, 2015, иллюстрация на обложке

© В. Середа, перевод на русский язык, 2019

© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019

© ООО “Издательство Аст”, 2019

Издательство CORPUS ®

* * *

Вчера я столкнулась с Марией Федоровной, бывшей мо-

ей хозяйкой, и встреча эта настолько разбередила мне душу, что я решила: надо все записать, все, что мне довелось пережить благодаря Марии Федоровне. Но для этого нужно начать с начала.

Люди простого звания часто дают своим чадам мудреные имена – пусть хоть имя у них будет благородное, вот я и стала Олимпиадой. Что за имя такое – никто и знал, и все называли меня просто Липой, что хотя бы имеет смысл. Красавицей я никогда не была, ни в девушках, ни потом. В школу я не ходила, старшие братья учились, однако недолго – пока не отдали на фабрику. Ютились мы все в одной комнате, и я слышала, как они по складам читали, так и выучилась в четыре года грамоте. А когда мне исполнилось десять, стала горничной у панов, и поляки передавали меня с рук на руки, потому как прослыла надежной: не украду, не совру, в книжке для прислуги – сплошь похвальные записи. В двадцать лет я попала в семью Андрея Алексеевича Желябужского. Со временем брак хозяев разладился, барин с маленькой дочкой и сыном съехал к своим родителям, ну а я осталась с хозяйкой. Из прислуги сделалась экономкой, а потом стала ей чуть ли не подругой или, во всяком случае, компаньонкой.

Моя благодетельница Мария Федоровна Андреева была женщина знаменитая – звезда Московского Художественного театра. Многие не любили ее – кто из зависти, кто за то, что революционеркой была, а кто-то за благородное про-

исхождение. Отец ее был театральным режиссером, и сама она с малых лет выступала на сцене, профессия была у нее, так сказать, в крови. Не любили ее и за то, что крута была, непреклонна, норовиста, нагоняла страху даже на режиссеров; и повсюду была своя, и в салонах аристократов, и среди обывателей. А поклонники у нее были знатные и богатые, такие как Савва Морозов, который ради нее миллионы тратил на Художественный театр, а позднее – на “Искру” да “Новую жизнь”, газету большевиков, ее формальным издателем была моя знаменитая барыня, чтобы цензоры меньше к ней придирались и реже ее запрещали. В то время она уже жила с Горьким, чему тоже завидовали многие. Не сказать чтоб Мария Федоровна была красивой, глаза маленькие, нос великоват, верхняя губа из-за выступающих зубов слегка нависает над нижней, и уже в молодости у нее был двойной подбородочек, но и на сцене, и в жизни была она удивительно притягательной и бесподобно владела голосом – ворковала, визжала, нашептывала, верещала, и все одинаково мелодично. Долгое время она была моложава, в пятьдесят Дездемону играла, уже будучи комиссаром петроградских театров и зрелищ. Жаль, что ей больше не разрешали играть. И преподавать тоже не разрешали, сколько она ни просила и Луначарского, и Сталина. В эвакуации она была в Казахстане, где занималась делами Дома ученых, как до этого здесь, в Москве. Я столкнулась с нею на улице Горького, она десятью годами старше меня, так что ей теперь восемьдесят три –

ровно столько, сколько было бы Горькому.

Когда Мария Федоровна сошлась с Горьким, он уже был семейным и жил в Ялте с женой Катериной Павловной и детьми Максимом и Катей. Алексей их оставил, взяв с собой в новый дом лишь Захара Васильевича Селиверстова, своего слугу. Я не думаю, что хозяйка моя догадалась, что я тоже влюбилась в ее возлюбленного, а коли и догадалась, то ей до этого было дела мало. Им хотелось подстраховаться, чтобы горничная не бросила их, вот и выдали меня за Захара, которого я хоть и не любила, но верой и правдой терпела. Революционеры ведь точно так же женили своих слуг друг на друге, как помещики – своих крепостных, и даже гордились, что вот, мол, как хорошо с нами обошлись. Я родила Захару ребенка, а через несколько лет в один и тот же день они умерли. Уж не знаю, считал ли кто, сколько тысяч и миллионов унесла “испанка”. Будь я верующая, то подумала бы, что лишилась мужа и сына из-за греховных своих желаний, но я верующей не была, и даже их смерть меня таковой не сделала.

Еще до знакомства с Алексеем была я немало наслышана о его божьем даре. Наконец-то пришел человек из низов. Этот может превзойти Достоевского, Толстого, Чехова и Мережковского вместе взятых. В дверь русской литературы в его лице стучится народ. Да что там русской – всей мировой! Наконец-то в сонное русское царство ворвется XX век! Такая молва шла о нем среди аристократов и демократов,

жен заводчиков, народников, критиков – все были в восторге, вот, явился, мол, человек, которого ждали!

Первый его рассказ, который я прочитала – “Макар Чудра”, – показался мне глупой, надуманной романтической сказкой, о чем я сказала Марии Федоровне, на что та ответила: ничего, напишет еще и получше. После этого много лет я не брала его книги в руки, хотя пьесы, конечно, видела, потому что ставил их Художественный театр, где играла моя благодетельница Мария Федоровна. Ольга Книппер, еще одна примадонна, окрутила Чехова, а хозяйка моя, чтобы не отстать, принялась за Горького. Чехов тоже был болен чахоткой, да и старый был – ему уже сорок исполнилось, в то время как Горькому только перевалило за тридцать.

Все было у Алексея фальшивое – и то, что писал он, и как говорил, и как одевался. Усы рыжие, плотные, волосы на прямой пробор, зачесаны на уши. Широкополая шляпа, серые панталоны, заправленные в сапоги, чесучовая, шитая на заказ черная блуза-косоворотка, подпоясанная кавказским ремешком. В этом придуманном для себя маскараде он и сам чувствовал себя неловко, будто мужик зажиточный, который идет сниматься к фотографу. Всякий раз, оказавшись рядом с женщиной, он немного сутулился, как бы стесняясь своего роста, но тоже не без лукавства – ссутуленная спина его рост лишь подчеркивала; он разыгрывал из себя очарованного самца, и, понятное дело, ни одна из самок не могла перед ним устоять. Он дымил папиросами, пил вино, пел, пля-

сал, что нравилось и обывателям, и аристократам, и социал-демократам, радеющим об интересах так называемого народа, хотя никому неизвестно, что понимать под этим словом, кроме того, что народ – это те, кто беден. До чего обожают в высшем обществе носиться со всякого рода балбесами “из народа”, и если они достаточно осмотрительны и грамотно исполняют роль, не нарушают приличий, то могут десятилетиями не расставаться с предписанной им ролью, что бы ни происходило вокруг – мировая война, гражданская, революции. Особенно привечали сынов народа люди еврейской национальности, и с Горьким им повезло больше, чем с другими русскими забулдыгами. Алексей их любил, говорил, что в молодости видел добро только от евреев, в то время как русские лупили его как сидорову козу; таких филосемитов, как он, я больше и не встречала.

Когда я впервые его увидела, он осмотрел меня недоверчиво, так прищулив глаза, что я не сразу заметила, какие они синие. То, что богатых ему обвести легко, он понял давно, а в слугах подозревал врагов, ведь у слуг чутье, таких, как он, они видят насквозь. Слуги – подлый народ, тут он прав был. Я – слуга, и поэтому враг. Никогда не встречала я человека, так ненавидевшего народ, из которого он якобы вышел и который якобы представлял. И первое впечатление о нем было такое: лезет вперед человек, пробивается, локтями работает, выставяет себя напоказ; физиономия его мне казалась бесстыжей, он юлил юлой, рассыпался мелким бесом, нес чепу-

ху, а кончилось это тем, что я тоже влюбилась в него.

Большей частью приударял он за зрелыми женщинами, способными поддержать в делах, завоевывая их тем, что на свое толстогубое лицо с пещерными надбровными дугами напускал мальчишеское очарование и вкрадчивое жеманство. При разговоре с женщинами он начинал басить, оболстительно рокотать, и тогда становилось ясно, что дама ему нужна. А этому кобелю нужны были все дамы. Я хотела предостеречь хозяйку, чтобы поосторожней была с этим ряженым мужиком, но потом передумала – благодетельница моя была женщина опытная, вся Москва лежала у ее ног, миллиончики сходили с ума, в те дни она как раз была возлюбленной Саввы Морозова, который позднее сдружился и с Алексеем. Я не раз провожала хозяйку к Морозову, чья жена, Зинаида, мучительно ревновала супруга. Савва был полной противоположностью Алексея. Я не видела в нем и намека на фальшь – простодушный, открытый был человек, что на уме, то и на языке; он даже и от царя не скрывал свое мнение и друзей своих фабрикантов постоянно корил за их подлости. Многие его не любили. Он ненавидел царский режим и презирал Европу. Вообще-то ему лучше было бы подружиться с Чеховым. Чего только не скрывалось в его татарской стриженной голове. Память у него была такая же поразительная, что и у Алексея, но соображал он гораздо быстрее и тараторил так, что иной раз невозможно было угнаться за его мыслью. Зарабатывать деньги ему было скучно, уж больно легко

это получалось, и так же легко он их тратил на благие дела, если видел в том смысл. Вот семья и решила убрать его, не дожидаясь, пока он растратит все их наследство, к которому сами они не прибавили ни гроша. Ну а свалили на Красина, который якобы был последним, кто навестил его в Каннах. Официально же Савва покончил жизнь самоубийством.

Да, хозяйка моя была женщина опытная, но все же попала в Алексеевы сети. Или, скорее, наоборот – это у нашего босяка не хватило ума.

Я была рядом с ними в тот первый вечер, когда Алексей, отец двоих детей, рассказывал о том, как несколько лет назад в Нижнем Новгороде его расспрашивал Короленко. Есть ли у него семья, спросил он у Алексея. Тот ответил, что есть. Ну и зря, якобы сказал Короленко, вам нужна свобода!

От такого бесстыдства я вспыхнула, а Мария Федоровна и ухом не повела, она среди театральных паяцев и не таких наглецов видала.

Алексей обожал читать вслух, вот когда было видно, что в нем пропадает актер. Он часто читал что-нибудь из Чехова, а также из Леонида Андреева. С Андреевым они были тогда еще в замечательных отношениях. Читая, Алексей часто плакал. Он вообще часто умилялся и плакал на публике, к чему я не сразу привыкла. А когда он читал “В овраге” Чехова, то рыдала вся публика.

Он любил рассказывать о своих похождениях, причем каких-либо неожиданных поворотов в этих историях не бы-

ло, зато он умел обстоятельно рассуждать от имени какого-нибудь персонажа, передавать в лицах диалоги, как будто разыгрывал импровизированную пьесу, в которой не было ни сюжета, ни кульминации – одни персонажи. Возможно, актер из него получился бы лучший, чем вышел писатель, но он ведь и так лицедействовал всю свою жизнь.

Как-то в Ялте мы были у Чехова. Народу собралось в кабинете писателя много – Бунин, Скиталец, Чириков, морской офицер по фамилии Лазаревский, наводивший на всех смертельную скуку. Алексей принялся рассуждать о том, что Толстой с Достоевским, эти великие гении, принесли и немалый вред русскому народу, ибо учат его пассивности, тормозят-де его развитие. Его слушали молча. Я подумала, глупости говорит Алексей, этих гениев русский народ не читает, он о них и не слыхивал. Его провокация отклика не имела. Алексей обиделся и умчался, и тогда все принялись браниться и возмущаться: самоучка, какое нахальство, да как он посмел! А Чехов с усмешкой спросил: “Что же вы это ему всё в глаза не сказали?”

Первое чтение пьесы “На дне” проходило во временном помещении – в театре был ремонт. Народу собралось множество, от Саввы Морозова до гримеров, так что была и я. Когда Алексей дошел до смерти Анны, то не выдержал, расплакался и, поглядев на всех, сказал: “Хорошо, ей-богу, хорошо написал... Черт знает, а?.. Правда хорошо!” Шаляпин хлопнул его по плечу: “Хорошо, старик, хорошо!”

Станиславский, борясь со слезами, попросил его продолжать. Что тут скажешь – артисты! А самый главный артист из них – разумеется, Алексей!

Все были в восторге от пьесы, ну а мне было скучно, в пьесе не было никакого действия, а нищета, в которой живут персонажи, меня не растрогала – я не такое видала. Говорят все герои пространно, с горячностью, все очень сентиментально и романтично. Наверняка поэтому пьеса и имела такой бешеный успех в мире. Но до пьесы мне дела не было, мне было приятно смотреть на Алексея и слушать его роко-чущий голос.

На репетициях Алексей не присутствовал, он был в Ялте, где пытался уладить дела со своей женой, тяжело переживавшей его измены. Станиславский решил, что актеры должны побывать на Хитровке, думал, это поможет игре. Окрестности рынка были, как говорили лицемеры, излюбленным местом беглых каторжников и бродяг, хотя все знали, что ни в одном другом месте Москвы их просто не потерпели бы. Это был мир проституток и сутенеров, постоянных облав, в домах не было электричества, а вода – только в кране на улице. Тут был лазарет, своя церковь, ночлежки, столовая для бездомных. Мария Федоровна попросила меня сопровождать ее – мало ли, попадется у перекупщиков что-то ценное, а служанке они отдадут дешевле, чем барыне. И действительно, довольно дешево я прикупила несколько китайских ваз. Алексей, который уже тогда страстно коллекцио-

нировал безделушки, заявил, что эти китайские вазы – псевдокитайские, но это неважно, потому что их тоже производят китайцы.

Станиславский привел всю компанию в палаты Бутурлина, бывшие в свое время роскошным зданием, но теперь совершенно разрушенные, где обретались бездомные, и некоторые из этих парий, предварительно им отобранные, рассказывали актерам о своей жизни. Все, как водится, врал, потому что бедные и вообще-то лгут себе и другим больше, чем люди зажиточные, а тут им еще и платили за это. Станиславский с гордостью слушал леденящие душу истории – вот они, судьбы страдальцев, вот он, истинный ад, вот до чего должны вы подняться, дамы и господа актеры. Вонь, крысы, сырость – несколько часов кряду дамы и господа стояли в убогом нетопленном помещении, ноги у всех затекли, но садиться им не рекомендовалось, а то еще нахватаются вшей да клопов. Голодранцы вещали неторопливо, будто и сами вышли из постановки Станиславского. Актеры изображали на лицах заинтересованное внимание, Немирович-Данченко, второй режиссер, тоже разыгрывал воодушевление, а художник Симов спал с открытыми глазами. Декорации он давно придумал, но эскизы придерживал, не показывал, пускай думает Станиславский, что его вдохновила Хитровка. Качалов картинно лил слезы, остальные беззвучно смеялись, прячась за спины друг друга от строгого взора классного наставника Станиславского. Эту экскурсию поминали потом меся-

цами, а о чем-то тоскливом говорили: “Прямо как на Хитровке”.

Накануне премьеры Мария Федоровна как ни в чем не бывало описала Алексею это паломничество на Хитровку. Тот слушал ее с изумлением. Но ничего не сказал, а только взглянул на меня. Посмотрел не шурясь, без смеха, понимающим взглядом. Он знал, что я думаю об этом то же, что и он, потому что мы оба выросли в бедности. Это был первый случай, когда мы с ним обменялись взглядами.

Мария Федоровна очень правдоподобно играла Наташу – простую и чистую, даже слишком чистую, на мой взгляд, девушку, очень естественно куталась в шаль и говорила без нарочитости, чего от нее не ждали, потому что за ней закрепилось амплуа героини. Во время спектакля Алексей нервно расхаживал за кулисами, курил папиросу за папиросой, а когда его вытолкнули на аплодисменты, он не успел загасить папиросу и, неожиданно оказавшись перед занавесом, спрятал ее в кулак. Так и держал дымящуюся папиросу, пока буживали овации в его честь, а потом, за кулисами, продолжил курить. Актеры смотрели на него с изумлением и восторгом, зная, какое это искусство – держать горящую папиросу так, чтобы она не погасла и не обожгла руку, – этому надо учиться. Все аплодисменты достались автору, а не актерам, не режиссеру. Успех был феноменальный, никогда с тех пор я не видела ничего подобного.

Мы были вместе всю революцию.

Жили мы – Мария Федоровна, Алексей и я с моим мужем – на углу Воздвиженки и Моховой в меблированных комнатах “Петергоф”. Дети Марии Федоровны и Алексея, в общей сложности четверо, с ними никогда не жили. К кабинету Алексея примыкала так называемая “птицевая” комната, где в клетках содержалось всегда пять-шесть птиц; когда какая-нибудь из них умирала, я добывала новую; там же, в мешках, держали птичий корм. В этой комнате хранились и бомбы, а в ящиках письменного стола Алексея – револьверы и уйма патронов к ним.

Начиная с 1904 года большевики по приказу Ленина закупили за рубежом оружие. Литвинов, будущий нарком иностранных дел, занимался его переправкой в Россию, где фабричным и кустарным способом всюду изготавливали взрывчатку, грабили почты и банки, ведь на закупку оружия нужны были деньги. Полтора десятилетия спустя Алексей встретился с Камо, самым отчаянным из этих грабителей, и даже написал о нем очерк; бедолага этот в то время с большим трудом как раз осваивал грамоту. Эсеры и меньшевики тогда подняли большой шум, считая восстание преждевременным, опасались, что оно приведет к неисчислимым жертвам ни в чем не повинных людей и к ответному удару царского режима – и, конечно, они оказались правы. Но сила Ленина уже тогда заключалась в его умении не считаться ни с чем и ни с кем, и меньше всего – с реальностью. Это он сделал большевиков фанатиками. Революция любой ценой, а кто выступает

против, тех бить беспощадно. Первым делом он не царизм хотел свергнуть, полагая так, что он и сам рухнет, а хотел задушить всех, кто с этим режимом боролся, чтобы убрать соперников. Разумеется, для победы его грандиозных замыслов нужна была еще мировая война, которая к семнадцатому году физически и духовно подорвала страну. А то, что еще от нее оставалось, методично добивали после Октября. В бытность нашу революционерами мы этого не предвидели. Я тоже была захвачена и даже ослеплена всем происходящим и была счастлива оттого, что хозяева доверяют мне.

Бомбами и оружием ведал Красин – на удивление элегантный, интеллигентно изъяснявшийся молодой человек, которого все принимали за аристократа, хотя на самом деле происходил он из таких же низов, что и Алексей, – отец его был околоточным надзирателем, прославившимся своей свирепостью. Стрелковое оружие где-то добывал Буренин, близкий друг Марии Федоровны и аккомпаниатор Шаляпина, – он позднее сопровождал их в Америке в качестве переводчика и, насколько я знаю, до сих пор жив. Самую крупную партию оружия перевозили на пароходе “Джон Графтон”, но у финского побережья он сел на мель, часть груза с него растащили местные рыбаки, у которых пришлось потом выкупать однажды уже оплаченное оружие. Лишних денег, конечно, у большевиков не было, но уже и тогда они их швыряли направо-налево. Однако же тем относительно малым количеством оружия они умудрились перебить невероятно мно-

го народу. Перевозкой оружия занимались и многие женщины. Например, Феодосия Ильинична Драбкина, которая на пять лет моложе меня и до сих пор жива, привозила нам оружие из Санкт-Петербурга. Участвовали в этом деле и Софья Марковна Познер, Игнатьева, Стасова, всех не упомнишь. Любят женщины поиграть в революцию, особенно если лицом не вышли да не знают, куда девать энергию. Я тоже красавицей не была, курносая, неуклюжая, с короткой шеей, так что была и во мне доля революционного заряда.

В один из дней на Воздвиженку явились тринадцать грузинских студентов и сказали, что пришли охранять актрису Марию Андрееву и писателя Горького. На наши протесты они не реагировали и убираться не собирались. Руководителем этой дружины был актер Васо Арабидзе, который три года спустя совершил в Грузии покушение на генерала Азанчевского-Азанчеева и так и не был пойман.

Кто не был в наряде, те спали вповалку на медвежьих шкурах или на голом полу. Места было немного, потому что и кроме них ночевало у нас много народу, многих я знала только по кличкам: Чемодан, Марат (так звали Шанцера), дядя Миша (какой-то Михайлов), Борода (Десницкий), Седой и Черт, фамилия которого была Богомоллов и который, несмотря на свою фамилию, любил пострелять и однажды так пулянул в пол, что к нам прибежал живущий под нами тайный советник и стал умолять, чтобы молодые люди, если можно, стреляли где-нибудь в другом месте, потому что пуля уго-

дила прямо в пианино, когда его жена играла на нем. Какое-то время жил у нас и Грожан, руководивший изготовлением бомб. Алексей дал ему денег и попросил раздобыть себе какую-нибудь менее приметную фуражку, потому что одежда революционера не должна бросаться в глаза. Однажды, уходя, Грожан сказал: “Ну, прощайте, может быть, навсегда”. Алексей отругал его, дескать, негоже революционеру быть пессимистом. В тот же день Грожан был убит. Хоронили его только трое: брат Грожана, Мария Федоровна и один студент. Алексей, бедный, так сокрушался о нем, что не смог пойти на его похороны.

Жили мы весело, потому что еще представления не имели, что она, эта революция, означает. Члены команды “химиков” спали вповалку по всей квартире, временами кавказцы менялись, появлялись новые, их было постоянно десятка два, они учились собирать бомбы. Сознание, что бомбы могут взорваться, щекотало нервы Марии Федоровне, но мне студенты признались, что бомбы не начинены и взорваться не могут. Алексей каждый день обсуждал с ними дела революции и проблемы будущего. Он обо всем говорил откровенно, хотя знал, чем это может ему грозить: к тому времени он успел уже побывать и в тифлисской тюрьме, и в Петропавловской крепости. Меня потрясло, когда он однажды по секрету шепнул мне, чтобы я вела себя осторожней, потому что как минимум половина из этих парней провокаторы и доносчики. А сам между тем с совершенно искренним

видом разыгрывал из себя святую простоту. Именно тогда я обратила внимание на это его качество: он умел лгать, говоря правду, и мог прикрывать чистую правду туманом завиральных идей. Из предосторожности тару, в которой приносили бомбы, мы не выбрасывали, а складывали до лучших времен в моей комнате.

На улицу Алексея Мария Федоровна не выпускала ни под каким видом, мало ли, еще застрелят, коли примкнет к какой-нибудь демонстрации, и когда Алексей упрямылся, говоря, что его место среди других революционеров, то закатывала такую истерику, что все окружающие принимались слезно молить Алексея, чтобы лучше остался дома. Они вообще нередко цапались не на шутку, не из тех были оба, чтобы уступать другому. За домом постоянно следили семь-восемь филеров, революционеры шныряли туда-сюда прямо у них под носом, я тоже спокойно ходила и с барыней, и одна – так они, как завидят, уже издали мне кивали. Я носила еду и питье, новости, письма, и никогда меня не задерживали.

Алексей, несмотря на “домашний арест”, наслаждался тем, что его считали одним из вождей революции, как-никак – всемирно известный писатель, против ареста которого протестовали лучшие литераторы и философы Европы и Америки. Ежечасно появлялись гонцы с известиями, у него просили совета: он писал зажигательные статьи, философствовал, спорил, вмешивался во все и знал химический состав бомб лучше какого-нибудь профессора-химика. Сту-

денты его обожали, и он этим наслаждался. Позднее все, что по милости Марии Федоровны ему не удалось увидеть собственными глазами, он описал в очерке о Савве Морозове, а еще позднее – в романе “Сорок лет”, получившем окончательное название “Жизнь Климса Самгина”. Кровавые события в Петербурге он показал в очерке о Морозове чрезвычайно наглядно, а вот московские события в “Самгине” – невыразительно и скучно. Вполне возможно, что “домашний арест” спас ему жизнь, зато как писателю навредил. Для меня до сих пор загадка, почему на одну и ту же тему у писателя получается то шедевр, то какая-то ерунда.

Не видел он собственными глазами и того, как Савва Морозов катал на санях Баумана. В своем очерке он выдумывает, будто случайно заметил их на Садовой; это неправда. Бауман скитался по городу, на двадцатиградусном морозе проводил ночи под открытым небом, и его соратники через Марию Федоровну попросили Морозова спрятать его. Морозов давал в год по 24 тысячи рублей на издание “Искры”, и товарищи рассудили так: раз деньги дает, можно его и на другие дела подвигнуть; им ведь дай палец, они и всю руку откусят. А Морозов был человек не робкий. Спрятал Баумана в своем особняке на Спиридоновке, в бильярдной комнате во втором этаже. А в первом этаже его жена Зинаида Григорьевна принимала на ужине генерала Рейнбота. За этого прощельгу она после смерти Саввы и замуж вышла, когда он стал московским градоначальником. Но потом генерал про-

воровался и был уволен.

Бауман тогда находился в розыске, за его голову власти обещали 5 тысяч рублей, но сидеть взаперти ему, молодому, было невмоготу. Морозов заложил санки, закутал Баумана в шубу, посадил рядом с собой на козлы и, сам взяв поводья, погнал рысака Ташкента, двукратного призера московских скачек. Они промчались вдоль по Тверской, свернули на Кузнецкий мост, отобедали там в трактире Тестова и вернулись домой. А на следующий день Савва спрятал Баумана в своем загородном имении.

Во время октябрьской демонстрации Баумана убил обрезком трубы черносотенец. Похороны его 20 октября вылились в еще большую демонстрацию, которая стала прологом к Московскому восстанию. А убийца, Михалин, через полгода был признан виновным в краже самовара и приговорен к полутора месяцам заключения. Но то было уже во время разгула реакции, когда все, кто мог, дали деру.

Алексей и Мария Федоровна бежали 13 декабря 1905 года, за полчаса до того, как в квартиру явились с обыском. Едва я успела кое-как скрыть улики, а студенты, побросав в бумажные мешки свои бомбы, удалились в сторону кухни, как в дверь тихо, вежливо постучали сыщики. Видно, какой-то поклонник Марии Федоровны из полицейских чинов предупредил ее. Сыщики перевернули вверх дном всю квартиру, но ничего не нашли. Меня четырежды вызывали на допросы, но ни разу не спрашивали ни о чем, что могло бы кому-ни-

будь навредить. Поди, принимали меня за дурочку – со своей курносой да круглой физиономией я умела прикинуться невинной овечкой. Особенно расспрашивали меня о Шмите, у них просто не укладывалось в голове, как может поддерживать революцию мебельный фабрикант, да еще о Савве Морозове, как будто не знали, что его уже несколько месяцев как нет в живых. О Ленине вопросов не задавали, правда, он в дни революции находился все время в Питере.

Пока шла революция, Мария Федоровна продолжала выступать в театре, а по вечерам бывала на раутах. Правда, однажды ее все же арестовали из-за того, что в большевистской газете “Новая жизнь” она выступала в качестве издателя, но тут же и отпустили. Все же тогда еще опасались, что из-за актрисы пресса может поднять слишком много шума. То была еще не такая революция, как последующая. Все работало, голода не было, кто не хотел митинговать, мог спокойно жить своей жизнью. Мария Федоровна болтала с царскими сановниками, министрами и промышленными магнатами на балах у сестры императрицы; великая княгиня Елизавета Федоровна даже писала портрет моей хозяйки, которая несколько раз ей позировала. А под утро, когда она на извозчике возвращалась в окруженный шпиками дом, они с Алексеем за стаканом вина хихикали на кухне, судача о том, кто и с кем кому изменяет, кто и как спасает свои миллионы в Европе.

После того как они бежали, я переехала к сестре Марии

Федоровны Каточке и прожила там довольно долго. Кроме сестры с мужем и двоих их детей, там жили и дети Марии Федоровны – Катя и ее старший брат Юрий. Хозяйка и Алексей прислали Каточке из Америки деньги на то, чтобы я окончила акушерские курсы. И я их закончила, они длились четыре месяца и стоили не так дорого. Довольно быстро я нашла работу, съехала от Каточки и начала жить самостоятельно. Захар также присоединился ко мне. Во время революции ему поручили обязанности посыльного – связника с Финляндией, так что он жил не с нами. Я привыкла к тому, чтобы быть прислугой, работать весь день на хозяев, поэтому встать на свои ноги было делом нелегким. Короленко однажды рассказывал Алексею, что встретил у неких Натансонов человека средних лет по имени Иван, который, отсидев за бродяжничество, стал искать себе барина, хотя крепостное право, пока он сидел, отменили. И вот он искал-искал, и никто его не устраивал, пока он не нашел Натансонов, которые обращались с ним так, как некогда с крепостными. Поселили его в тесном коридорчике без окон, где он вскакивал всякий раз, когда проходили хозяева. Вот тогда он наконец успокоился и с радостью стал служить им. Такой же была и я, верной как пес. Чехов, видимо, знал эту историю и, по мнению Алексея, вывел этого Ивана в “Вишневом саде” под именем Фирса. А играл его Артем, любимый актер Чехова; отец его был крепостным, а сам он художником стал, учителем рисования. В “На дне” он играл Актера. Ему уже было за шестьдесят то-

гда. Мудрый был человек и любил меня.

Алексея я не видела двенадцать лет. За это время случилась война, потом революция, да много чего. Я закончила курсы медсестер, в восемнадцатом потеряла сына и мужа, перебралась в Петроград. Начался голод, террор, от голодной смерти меня спас Алексей. Точнее, меня позвала Мария Федоровна, которая жила в квартире Алексея со своим новым любовником. Он был на двадцать один год моложе нее, звали его Петром Петровичем Крючковым, а по-домашнему – Пе-Пе-Крю, но я его так никогда не звала. Мне он был неприятен, розовощекий, гладкий, во всем его облике была какая-то уступчивость. Мне казалось кошмарным, что он связался с женщиной, годящейся ему в матери, однако такого конца, который выпал ему, он все же не заслужил. После октября семнадцатого Мария Федоровна была назначена комиссаром театров и зрелищ Петрограда и Северной области, а с осени девятнадцатого, когда все театры национализировали, власть ее еще более возросла, но лишь номинально, так как многие ставили ей палки в колеса.

Особенно пакостила жена Каменева Ольга Давидовна, младшая сестра Троцкого. Она обожала театр, не имея к нему ни малейшего отношения, и специально для Ольги Давидовны придумали какой-то пост в Наркомпросе, на котором она командовала театрами, разумеется, делая все в пику Марии Федоровне.

Жене петроградского диктатора Зиновьева Злате Ионов-

не Лилиной тоже хотелось поруководить культурой, а поскольку Зиновьев был важной птицей (он вместе с Лениным скрывался в Разливе), то и Лилина вставляла палки в колеса Марии Федоровне. Позднее ее младший брат стал заведовать Госиздатом и немало вредил Алексею и вообще всем талантливым людям, потому что хотел быть писателем, но не имел для этого ни таланта, ни воли.

Копала под мою благодетельницу и жена Ленина Крупская, готовая запрещать все, в чем есть хоть что-нибудь человеческое и неординарное. Марию Федоровну она невзлюбила давно, потому что терпеть не могла и Горького, как и всех, кто не был фанатиком.

Луначарский тоже невзлюбил Алексея. Еще до войны, кажется в 1912 году, он с семьей был у Горького на Капри. У них умер маленький ребенок. Похоронить его по христианскому обряду Луначарский, как атеист, не мог. И, посоветовавшись с супругой, он додумался до того, что стал над мертвым младенцем читать стихи Бальмонта. Мария Федоровна подняла его на смех при всей честной компании, после чего он навеки возненавидел ее. В 1920 году Луначарский познакомился с одной цирковой артисткой, женой спившегося писателя, и красотка эта вместе с мужем переселилась в Кремль, в многокомнатную служебную квартиру в Конюшенном корпусе. Бывал там и Алексей. Писателя Луначарский пытался продвинуть в литературных кругах и устраивал вечера в своем доме, куда приглашал лучших литера-

торов, которые были вынуждены слушать в исполнении мужа циркачки отрывки из его бредового романа. Однажды туда приглашен был поэт Ходасевич, который заведовал московской редакцией “Всемирной литературы”, и он так убийственно пародировал потом эту читку, что мы визжали от хохота.

Словом, тяжелое положение было у Марии Федоровны, которую ненавидели три самых влиятельных женщины. Да уже и в тринадцатом году тяжело ей было, когда с разрешения царского министра внутренних дел она вернулась в Россию. Алексея она бросила на Капри. Мария Федоровна хотела вернуться в Художественный театр; на Капри перебивала чуть ли не вся труппа – Немирович-Данченко, Мейерхольд, многие из актеров и, разумеется, Станиславский с семьей, да только напрасно все, Станиславский назад ее не пустил. Боялся, что Мария Федоровна будет мстить ему за то, что не ей отдал роль Раневской в “Вишневом саде”, а Ольге Книппер, для которой Чехов писал роль фокусницы Шарлотты. Еще в 1904 году Мария Федоровна с Алексеем и Саввой Морозовым затевали новое театральное дело и для проформы звали туда даже Станиславского, хотя на самом деле идея была в том, чтобы создать конкуренцию Художественному театру, да только из-за революции и смерти Морозова дело кончилось ничем. Алексей неоднократно ссорился с Художественным театром, пьесу “Дачники” Станиславский с Немировичем-Данченко сочли недостаточно общечелове-

ческой, но истинная причина конфликта была все же в том, что в “Вишневом саде” Марии Федоровне досталась всего лишь роль Вари. Сегодня все это кажется очень далеким, но я живо помню, какая ненависть витала в театре, и не только в верхах, но и за кулисами.

На Кронверкском, где сломали стену и из двух квартир сделали одну, одиннадцатикомнатную, было многолюдно. У Алексея всегда были собаки; однажды такса выбежала из квартиры, и больше мы ее не видали. Не иначе, ее уже в подворотне съели. А в Берлине Мура подарила ему другую таксу, Кузьку. Эту собаку я еще застала в Сорренто. Благодаря Кронверкскому уцелела и я. Пропитание и дрова Горький получал из чекистского распределителя, чай, вино, хлеб, капуста были всегда; иногда хозяевам и гостям даже перепало мясо. Это вовсе не значит, что все были застрахованы от цинги – Алексея потом еще долго лечили от нее в Берлине. Но тот факт, что в квартире с потолка не свисали сосульки, воспринимался как чудо. Это был первый рукотворный голод, как назвал его Короленко, потому что возник он не в результате стихийного бедствия, а был вызван самими людьми. Белые находились в нескольких верстах от Петрограда, но беда посерьезнее состояла в том, что большевики нещадно уничтожали крестьян. Голод, который разразился десятью годами позже, стер из памяти более ранний голод, ну а этот, последний, голод был стерт еще через десять лет из памяти тех, кто пережил блокаду. На начало двадцатых годов в Пет-

рограде оставалось семьсот тысяч человек, из них от сорока до пятидесяти тысяч замерзли на улицах или в квартирах.

Я жила не на Кронверкском, но при всякой возможности навещала Марию Федоровну, и меня всегда кормили. В больнице не топили, поэтому, когда не было дежурства, Мария Федоровна и Алексей не отпускали меня. По вечерам ходить по улицам в Питере было опасно: могли ограбить, убить, раздеть, да к тому же был комендантский час, так что и застрелить могли. В квартиры тоже частенько врываются грабители или чекисты, но Горький и обитатели его дома были под защитой. Вернуться в семью экономкой меня не звали, да я бы и не пошла: всеми делами заправляла Анна Фоминична, славившаяся своей энергичностью женщина, державшая в узде всю компанию; два десятка обитателей квартиры боялись ее как огня и поэтому уживались друг с другом.

Какое-то время жила там и Катя, дочь Марии Федоровны, со своим мужем Абрамом, и была также речь о том, чтобы в одну из комнат поселить ее сына Юру, молодого кинооператора, но в это время на горизонте возникла Мура и заняла отведенную Юрочке комнату. А вскоре сбежали и Катя с Абрамом, не выдержав атмосферы первобытной коммуны. Катю ужасал царивший в доме фривольный тон, постоянно шатающиеся взад-вперед ряженые, какие-то подозрительные личности – не дом, а проходной двор, где невозможно уединиться, потому что все время кто-то врывается в комнату,

и все болтают, болтают не закрывая рта. Каждый день ужин растягивался на семь или восемь часов, пели похабные частушки, кто-нибудь непременно брэнчал на рояле или играл на гитаре, рассказывали анекдоты, сквернословили, передавали из рук в руки старинные эротические альбомы, например собственноручные иллюстрации маркиза де Сада, и разглядывали похабные фотографии. Алексей показывал порнографические рисунки Максима, любимой темой которого был бордель, у него была целая серия: четырех- или пятиэтажные дома, где в каждом окне видны были обнимающиеся женщины, мужчины, животные в самых разнообразных позах, причем лица некоторых, несмотря на миниатюрность голов, нетрудно было узнать. Все нахваливали таланты Максима, а родители, Алексей с Катериной Павловной, слушали это с гордостью.

Много пили, всю ночь напролет галдели, до утра невозможно было заснуть. А еще Катю смущало, что мамин возлюбленный, к которому она привязалась еще ребенком, теперь жил с Варварой. Эта Варвара Шайкевич (как все ее звали по первому мужу), была тогда женой Тихонова, Алексеева друга, которого Катя знала еще по Капри. Вместе с дочерью Ниной Варвара тоже имела комнату на Кронверкском. Позднее обе они эмигрировали в Париж, где у Ниночки не сложилась карьера в балете, и Алексей издали материально поддерживал их. Но в то время они еще делили кров с Алексеем.

Неожиданно в их жизнь вихрем ворвалась Мура, которую рекомендовал в качестве машинистки и секретарши редактор “Всемирной литературы” Чуковский. Мария Федоровна и Алексей ухаживали за ней как за ребенком, потому что в первый же вечер она упала в голодный обморок, а может быть, только притворилась, но как бы то ни было, ночевала она на Кронверкском, Варвара Шайкевич мало-помалу была вытеснена из дома, да и Юрочке комнаты не досталось. Позднее Катя рассказывала мне, как однажды, незадолго до Пасхи, ее насмерть напугал звонок. Телефон Алексея она запомнила на всю жизнь: 21–68, а служебный номер Марии Федоровны в доме 46 на Литейном проспекте был 42–62. Как-то в полдень раздался звонок. Ракицкий, как всегда, торчал в своей комнате, взять трубку ему было лень, так что ее сняла Катя. Спросили Горького. Катя ответила, что его дома нет, и спросила, что передать. Ей говорят: это Каменев из Москвы. Слушай, детка, передай ему, что его зазнобу мы отпускаем, это ему крашеное яичко к Христову дню.

Каменев встречался с Катей еще на Капри и узнал ее голос. Но испугало ее не это, а то, насколько циничны руководители государства.

Крашеным яичком была Мура, два раза в неделю она должна была отмечаться на Гороховой, потому что уже побывала в ЧК в Москве. Время от времени ее опять забирали. Алексей постоянно звонил Дзержинскому, наркому внутренних дел, которого он в свое время тоже принимал на

Капри, и просил оставить в покое Муру, свою незаменимую секретаршу. Упрашивал он и Зиновьева, этого живодера, но тот ему даже не отвечал. Мария Федоровна тоже просила за Муру в чрезвычайке – может, радовалась, что Алексей наконец-то завел себе действительно презентабельную подругу, но долгое время их просьбы оставались безрезультатными.

Под началом Анны Фоминичны трудились три кухарки и горничная, которых привели с собой Дидерихс и жена его Валентина Ходасевич, племянница поэта Ходасевича. У братьев Дидерихсов была фортепьянная фабрика, от которой им удалось сохранить кое-какое имущество. Это они посоветовали Алексею собирать китайский фарфор и нефритовые статуэтки – их и перевозить легко, и ценность свою они хорошо сохраняют. Валентина была художницей, благодаря Марии Федоровне она получала заказы на оформление спектаклей и разработку театральных костюмов. Валентина с Ракицким, тоже художником, обычно доставляли из распределителя продукты, а когда гостей набиралось уж слишком много, то Алексей звонил, чтобы для доставки дали автомобиль. “Слишком много” означало, что вместе с хозяевами едоков будет больше шестидесяти.

Ракицкий был человек по натуре кроткий, но, опасаясь грабителей, он тоже ходил с маузером в кармане. Огромный увалень, он страдал от голода больше других. Мне повезло, я быстро сбросила вес, да такой и осталась. С усохшим желудком голод выдерживать легче. Я страдала только от холода.

Ракицкий почти безвылазно сидел в своей комнате. И дымил в ней как паровоз. У него был принцип, согласно которому свежий воздух вреден для организма. Однажды он заявился к Алексею, даже не будучи с ним знакомым, сказал, что болен, и попросил господина Горького раздобыть для него лекарства. А лекарства, как и все остальное, можно было достать, только имея связи; тогда мы еще надеялись, что это чрезвычайное положение со временем кончится, а оно продолжалось и в мирное, и в военное время и, наверное, уже никогда не кончится. Алексей начал с ним разговаривать, и этот Ракицкий подверг критике его книги, которые он почти все читал, и ни одна ему не понравилась. Ракицкого оставили ночевать, и с тех пор он – в течение восемнадцати лет – неотлучно жил в доме Горького. Иногда бил баклуши, иногда ковырялся в саду. И курил. Алексей добился, чтобы он получал такой же паек, как лучшие ученые и деятели искусства, и с этого времени все свои новые тексты сначала давал читать Ракицкому. Он был человеком неразговорчивым, за все годы я обменялась с ним, может быть, четыремя-пятью фразами и не видела ни одного его рисунка или картины – он то ли покончил с живописью, то ли вовсе не начинал ею заниматься. Но все же я очень любила его, как, впрочем, и он меня. Он умер девять лет назад от атеросклероза в возрасте шестидесяти одного года; его, в отличие от многих других, не расстреляли.

В 1919 году в квартире на Кронверкском появилась да-

же княжеская чета – князь императорской крови Гавриил Константинович Романов с женой Антониной Рафаиловной. Князь был очень высок и строен, а его жена Нина – пухлая коротышка ростом ему по грудь, о которой никто бы и не подумал, что она в свое время была блистательной балериной. Многие люди удивлялись: с чего это Горький занялся спасением князей. А история вышла такая: князь, с которым они ранее не встречались, написал ему из тюрьмы, и Алексей с превеликим трудом его вызволил. В Москве он выхлопотал у Ленина помилование для еще четверых великих князей, да только пока он ехал обратно, Ленин позвонил Зиновьеву, чтобы кончали с ними, что Зиновьев с радостью и выполнил. В Петрограде, еще на вокзале узнав о случившемся, Алексей заплакал. Многие люди, и я в том числе, не могли понять, что его так шокировало. Ведь убийцы – они тем и отличаются, что убивают. Алексей плакал совершенно искренне, но при этом скорее плакал все же не сам он, а тот простодушный актер, чей образ он так в себе пестовал. Он ведь должен был знать, что ходатайствует за великих князей совершенно напрасно, ибо самое большее, чего он способен добиться, это того, что казнят их, когда его не будет в Питере. Ленина он знал очень хорошо и все же готов был разочаровываться в нем до бесконечности.

То же самое произошло, когда он умолял сохранить жизнь Гумилеву. Ленин обещал помиловать его – и в самом деле помиловал: когда Алексей вернулся в Петроград, то выясни-

лось, что повешение заменили расстрелом. Гумилев был хорошим поэтом. В издательстве “Всемирная литература” он однажды в присутствии Алексея очень плохо отозвался о его стихах, назвав их беспомощными и бездарными, но что бы там ни говорили, а погиб он не из-за этого, а потому, что убийцы были убийцами.

Блока, в сущности, тоже убили, хотя Алексей ходатайствовал и за него.

Блок был тяжело болен, однако его не хотели отпускать на лечение за границу, и тщетно писал Алексей Ленину и обивал пороги наркома просвещения Луначарского. С Блоком у Алексея отношения тоже были натянутые, но они уважали друг друга. Ленин давно уже ничего не читал и запросил мнение чекистского начальника Менжинского, который ему ответил, что Блок – натура поэтическая и если его отпустить, то наверняка он будет писать стихи против советской власти, так что он не советует отпускать. В тот же день на политбюро Троцкий и Каменев голосовали за то, чтобы отпустить Блока, а Ленин, Зиновьев и Молотов – против. Сталин на заседании не присутствовал. Алексей снова бросился к Луначарскому. Наконец Ленин сдался, но поставил условие, чтобы Блок ехал без жены. Ясно было, что Блок не пойдет на это. Алексей опять попытался вступить, но, не получив никакого ответа, с горя уехал на отдых в Финляндию. Когда Ленин узнал, что Блок безнадежен, то снял запрет на поездку его жены; через два дня Блок умер. На похоронах

Алексея не было, он еще не вернулся с отдыха. Дело выглядело так, будто он не помог Блоку из ревности, хотя мало кто сделал для него больше, чем Алексей. Коммунизм – это диктатура ничтожных мстителей, торжество бездарностей, говорил Алексей. Невесть откуда понабежала уйма злобствующих дураков, которые затаптывали всех, кто был талантливей, и все это называлось революцией. Алексей, наряду с редактированием книжной серии и работой в газете, выручал из беды людей, в общей сложности спас от расстрела 286 человек, но позднее, через пару лет, треть из них все-таки расстреляли. Жена Каменева в 1920 году говорила Ходасевичу, что ее удивляет, как он может знаться с этим мошенником Горьким – да если бы не Владимир Ильич, он давно бы сидел в тюрьме!

С декабря семнадцатого Алексей нещадно критиковал большевиков в “Новой жизни”, пока в июле восемнадцатого ее не прихлопнули. Он писал, что установился красный царизм – враждебный всякой культуре, людоедский режим. Он все повторял, что нельзя истреблять интеллигенцию, потому что это мозг нации; а Ленин ему отвечал, что интеллигенция, которую он защищает, не мозг нации, а говно, и проводил соответствующую политику.

Князя Гавриила Константиновича удалось вызволить со Шпалерной с согласия Дзержинского, за спиной у Зиновьева, после чего он вместе с женой жил на квартире Алексея, ибо другого укрытия для них не нашлось. Поженились

они уже после Февральской революции, потому что до этого их венчанию препятствовало недостаточно благородное происхождение Антонины Рафаиловны. Они присутствовали за обеденным столом, даже когда из Москвы неожиданно нагрянули Ленин с Каменевым. Ленин попал в квартиру через черный ход, а Каменев через парадный, чтобы если застрелят, так одного Каменева. А у Зиновьева телохранителей было больше, чем у Ленина с Каменевым вместе взятых, – слишком многие в Питере ненавидели его, причем ненавидели лично, как человека. Я тоже присутствовала на том ужине. Во главе стола сидел Алексей, а по другую сторону на почетном месте – Катерина Павловна, мать Максима, которую Ленин знал с очень давних пор, по сути, она была чуть ли не единственным эсером, то есть не большевиком, кого Ленин оставил в живых. Справа от Алексея, посередине стола, между Максимом и Ракицким, сидела княжеская чета – прямо напротив Каменева, Ленина и Зиновьева. Рассаженные таким образом гости чувствовали себя явно неловко, но мне кажется, Алексей нарочно устроил так, чтобы князь Романов оказался лицом к лицу с Лениным. Чуть дальше, наискосок от Ленина, сидела Мария Федоровна, которой Ленин еще в эмиграции дал кличку Феномен, рядом с ней – ее новый любовник Крючков; чуть поодаль сидели Валентина и Диди (как прозвали они Дидерихса), а также Варвара Шайкевич с дочкой Ниночкой, отцом которой, по слухам, являлся Алексей, только будь это правдой,

он, конечно, заботился бы о ней гораздо лучше. Еще много народу сидело за длинным столом, в том числе и я – между Мурой и Катериной Павловной, на той стороне, где сидел Ленин. Муру, о которой Ленин наверняка знал все и даже больше, чем все, представили ему как Алексееву секретаршу. Застольем руководил Алексей, который произносил тосты и, как заправский тамада, объявлял следующего оратора. Этой науке он обучился в Грузии, где его посадили в кутузку, но затем отпустили и он несколько месяцев провел среди грузин. Все, даже Ленин и княжеская чета, беспрекословно повиновались Алексею, правда, великий князь с женой до дна не пили. Весь вечер Алексей развлекал компанию своими рассказами, сыпал анекдотами, цитировал русских и иностранных знаменитостей, однако философии не касался, чтобы Ленин не мог к нему прицепиться. Но некоторые из высоких гостей все-таки прерывали его, уж очень не терпелось Каменеву с Зиновьевым показать, что они тоже не лыком шиты. Жалкое это было зрелище. От присутствия дам уши у них разгорелись. Мура была просто очаровательна – типичная славянская красавица, пышнотелая, светлоглазая и светловолосая, она чувствовала себя совершенно свободно в любой компании. Каменев был куда образованнее садиста Зиновьева, хотя тот тоже знал уйму языков и неплохо переводил с немецкого. Когда-то Каменев прятал на своей квартире от царских ищек Сталина, который неверно процитировал какого-то латинского автора, и Каменев его поправил;

а спустя тридцать лет выяснилось, что не следовало этого делать. Хотя ясно, что Сталин шлепнул бы его, даже если бы он не знал латыни.

Во время обеда вожди нашей партии и правительства стали отпускать шуточки по адресу царской семьи, которую к этому времени уже ликвидировали; князь и его жена не отреагировали, они молча жевали, не отрывая глаз от тарелок. Ленин нецензурных слов не использовал и пил мало, а Зиновьев с Каменевым развезло. Чекисты не евши, не пивши дожидались их в кухне, в передней, на лестнице и в подворотне. Алексей отхлебывал свое пиво, он обычно не напивался. Зиновьев не скрывал своей радости, услышав, что у Алексея идет горлом кровь, и даже выразил искреннее удивление, что он все еще жив. Алексей только рассмеялся. А Ленин, уже не в первый раз, заговорил о том, что Алексею Максимовичу обязательно нужно ехать за границу на лечение. Он все время твердил об этом начиная с 1918 года, но Алексей делал вид, будто не понимает его.

В конце концов Алексей выхлопотал паспорта для княжеской четы Романовых, точнее сказать, Зиновьев дал слово, что они их получают и смогут выехать из России. На рассвете в день отъезда на вокзале их поджидал отряд из десятка чекистов. Княжескую чету провожали Алексей, Мария Федоровна и Крючков. Паспорта им еще не вручили, и Алексей нервничал, зная, что от Зиновьева можно ожидать чего угодно. Других пассажиров не было. Они сели в вагон. И боялись

того же, чего боялись и провожающие: что через несколько километров поезд остановят, их выведут в снежное поле и расстреляют в затылок. Мария Федоровна все же надеялась, что Ленин не захочет потерять настоящего князя императорской крови, который, будучи за границей, может принести советскому государству огромную пользу. Впрочем, отличными агентами могли бы стать и четверо великих князей, которых незадолго до того расстреляли в Петропавловской крепости, так что причины тревожиться о судьбе княжеской четы были.

И действительно, где-то в чистом поле поезд остановился. Командир отряда чекистов указал куда-то вперед и сказал: “Там Финляндия. Дальше пойдете пешком”. И прежде чем они двинулись, перекрестил их и прошептал: “Да хранит вас Господь, Ваше Высочество!” Увязая по колено в снегу, супруги кое-как миновали поле, им вслед никто не стрелял, финские пограничники, даже не спросив у них документов, доставили их в Гельсингфорс. Вряд ли кто-то узнает, был ли дан чекисту приказ попрощаться с князем такими словами, но в том, что ему было велено отпустить их на все четыре стороны, можно не сомневаться. Антонина Рафаиловна открыла в Париже дом моды, а князь Гавриил Константинович, человек с обворожительными манерами, развлекал клиенток, дожидавшихся очереди на примерку. А еще в их доме устраивались партии в бридж, на которых в двадцатые и тридцатые годы бывал весь Париж, включая и дипломатов.

Надо думать, княжеская чета расплатилась за свое помилование.

Жизнь на Кронверкском бурлила и днем: за длинным столом в столовой устраивались заседания “Всемирной литературы”. Многие рукописи Алексей редактировал сам. Кое-кто говорил, и он тоже этого не скрывал, что Алексей редактирует лучше, чем пишет. На протяжении всей его жизни к нему потоком шли рукописи, он читал их с карандашом в руке и выправлял даже самые безнадежные. Раз человек прислал ему собственное творение, значит, заслуживает того, чтобы он сообщил ему свое мнение. Если мнение было плохое, то он его не скрывал. А с другой стороны, он открыл дорогу в литературу многим известным писателям. Однажды в шестнадцатом году явился в редакцию “Летописи” коренастый лысеющий очкарик лет двадцати двух, принес два рассказика. В течение полугода Алексей вновь и вновь заставлял его переписывать их, в результате один получился страниц на восемь, другой на четыре. Один назывался “Элья Исаакович и Маргарита Прокофьевна”, а другой “Мама, Римма и Алла”. Замечательные вышли рассказы. Их автором был Исаак Бабель. Алексей открыл также Платонова, самого талантливого среди них, и Булгакова, которому помогал всеми силами.

Сидели они на Кронверкском всей редколлегией – Чуковский, очень славный человек, Блок, который был великим поэтом, Шкловский, ученый, а также Тынянов, который был и писателем, и ученым, жаль только, умер он в молодом воз-

расте от болезни. Там же сидел академик Ольденбург, руководивший Комитетом помощи голодающим, его то арестовывали, то выпускали, но так и не дали работать. Сидел Гумилев, которого потом расстреляли. Сидели люди, при царе помогавшие Ленину прятаться от полиции, с которыми в советские времена – с кем раньше, с кем позже – тоже расправились. Был Тихонов, отец Нины и старый друг Алексея. Был давний его сторонник Замятин – Алексей считал его очень талантливым, несмотря на сухой стиль, от которого он выходил из себя; уже позднее, при Сталине, по ходатайству Алексея Замятина выпустили за границу, он перебивался с хлеба на воду в Париже и вскоре умер. Шли жаркие дискуссии о том, какие книги издавать для рабочих в русском переводе. Всего планировалось выпустить 1500 книг, но вышло только 120, да и то тиражом куда меньшим, чем им хотелось. Чтобы выбить бумагу, Алексей мотался в Москву к Ленину, Луначарскому и Дзержинскому, председателю ВЧК. В 1909 году Дзержинский бежал из сибирской ссылки к Алексею на Капри, где провел около года; там он познакомился с Максимом, в ту пору еще подростком, а девять лет спустя принял его на работу в чрезвычайку.

Чуковский заметил, что почти все книги, о которых заходит речь, Алексей знает чуть ли не наизусть, что о книгах он один знает столько, сколько знают все они, вместе взятые, причем знает и о таких книгах, которых еще нет на русском. Память Алексея он считал просто феноменальной,

в этом смысле ему нет равных, говорил Чуковский. Позднее я наблюдала еще более поразительную память у Зиновия Пешкова, а ведь он был приемным сыном Алексея, кровного родства между ними не было. На заседаниях во “Всемирке” Алексей продвигал идею издавать для рабочих мировые шедевры в упрощенном виде, чтобы увлечь их и пристрастить к чтению; уже и авторы были назначены, которым предстояло переработать такие сложные и большие романы, как, например, “Дон Кихот”; сам Алексей взял на себя подготовку сокращенного прозаического пересказа “Фауста”, но закончить его не успел, так как Ленин выпер его из страны.

Был период, в 1918-м, когда для рукописей на столе не хватало места из-за громоздившихся на нем произведений искусства. Алексей поначалу защищал частную собственность, но когда уже все было национализировано, то есть пущено псу под хвост, он решил, что лучше, если накопленные богачами сокровища будут вывозить из страны не воры, грабители и ушлые антиквары. Грабили в это время все подряд, и оценочная комиссия пыталась спасти то, что можно было спасти. Среди членов комиссии были Валентина Ходасевич и Ракицкий. А подписывали постановления Алексей и Мария Федоровна. Если им что-то очень нравилось, оставляли себе, но в основном все шло на продажу на Запад. Статуэтки, картины, монеты, ковры, фарфор и хрусталь реквизировали чекисты (какое-то время в таком отряде, только в провинции, действовал и Максим); все эти вещи свозились в

дом Салтыковой на Марсовом поле, откуда они попадали на Кронверкский, где заседала экспертная комиссия. Эту работу от имени Наркомата торговли пытался взять под контроль некий Пятигорский, но Алексей дал ему от ворот поворот.

Те предметы, которые комиссия считала наиболее ценными, отправлялись в Эрмитаж или в Московский музей изобразительных искусств, а менее ценные реализовывались за границей, главным образом за зерно. Поэтесса Зинаида Гиппиус, которая и в России, и в эмиграции к Алексею испытывала лютую ненависть, оклеветала его, мол, будучи председателем Антикварной комиссии, он разворовывал художественные ценности. Ну, если бы он разворовывал их, то уж точно жизнь его сложилась бы по-иному. Чекисты тоже пытались привлечь его к ответственности за то, что участвовал в ужинах с иностранными антикварами, которые, дескать, его таким образом подкупали. Оно так, он и ужинал с ними, и выпивал. Как-то вызвали его для беседы, потому что кто-то донес, будто Алексей в ресторане какой-то гостиницы выпил целый стакан виски. Будь то водка – никто бы и не заметил. Но Алексей объяснил товарищам, что для продажи художественных ценностей нужны покупатели. А трезвый покупатель антиквариата – это очень плохой партнер. С чем не могли поспорить даже чекисты.

После того как спасение художественных ценностей уступило место борьбе с голодом, антиквариат из квартиры исчез и редакторы “Всемирки” с радостью вновь расселись за

длинным столом.

Секретаршей в этой редакции стала Мура, которую привел Чуковский. А спустя два месяца она уже занимала отдельную комнату в квартире на Кронверкском. Мура была женщина молодая, красивая, толковая и напористая, с чувством юмора, но было в ней и что-то темное и отталкивающее. Марии Федоровне я сказала сразу, что мы нарвались на авантюристку. Возникло подозрение, что ее подслала к Алексею ЧК, что могло быть правдой, хотя особого смысла в этом не было – ЧК, которая всячески опекала нас, имела в окружении Алексея достаточно стукачей и без Муры. Перед этим Муру арестовали в Москве вместе с главой британской миссии, который, видимо, был ее любовником. В ВЧК это дело попало к Петерсу, заму Дзержинского; в эмиграции он жил в Лондоне, знал язык, поэтому всеми английскими делами занимался он. Муру и британского дипломата Петерс допрашивал лично.

В Петрограде Муру арестовали за то, что пыталась отоварить поддельные продуктовые карточки. Три дня продержали, а затем, как она нам сама рассказывала, по ее требованию все же позвонили в Москву Петерсу, который распорядился ее отпустить. Но тогда мы еще не знали, что ей нельзя верить, даже когда она говорит правду. В самом деле, это была авантюристка, потому в нее и влюбился авантюрист Алексей. Она была на двадцать четыре года моложе него. В Эстонии у нее было двое детей, прятавшихся у родственников

после того, как в своем поместье был убит крестьянами их отец, царский дипломат Бенкендорф. Из-за войны попасть в Эстонию Мура не могла. Но как только возникла такая возможность, Алексей выхлопотал ей паспорт, и Мура уехала. Ленин этому не препятствовал, вероятно, рассчитывая на то, что Мура эмигрирует и Алексей последует за нею, а обратно его уже просто не пустят. Мура действительно не вернулась, но Алексей все-таки не уехал, так что пришлось, обождав полгода, выдворять его специально.

Мура была заядлой курильщицей и любила выпить. Ее комната находилась по соседству с комнатой для гостей, в которой в двадцатом году остановился приехавший с сыном знаменитый английский писатель Уэллс. Она знала его еще по Лондону, где училась в колледже, так как дядя ее работал в царском посольстве; там же она и мужа себе нашла. В последнюю ночь своего пребывания в Петрограде вместо комнаты для гостей Уэллс случайно забрел в комнату Мухоморова и остался там до утра. Плотность же населения в нашей добровольной коммуне была такова, что уже наутро все об этом знали. Тем не менее Мура завоеванные права сохранила. Дама она была очень занятная, всегда в центре внимания, свободно владела европейскими языками, по-русски же говорила с акцентом. В то время было еще незаметно, что она располнеет. Алексей надавал ей множество прозвищ, точнее, она и сама гораздо была их выдумывать: Мура, Титка (на украинский лад), Чобунька. Говорят, будто после Маты

Хари не было лучшей шпионки, чем наша Мура, но какое это имело значение, если чуть ли не все в окружении Алексея шпионили и писали доносы. В мае 1921 года Мура наконец смогла выехать в Эстонию, где быстренько вышла замуж за тамошнего барона Будберга и таким образом получила эстонский паспорт. Страна была независимая, в войне не участвовала, и ее граждане легко могли получить визу в любую страну Европы. Позднее, в Берлине, Алексей содержал и барона, он же заплатил за развод, а в качестве отступного профинансировал эмиграцию Будберга в Южную Америку. Некоторые утверждают, что все оплачивала ЧК, но я знаю точно, что деньги платил только Алексей.

За несколько месяцев Мура стала незаменимой секретаршей Горького, вела переписку, была его переводчицей и литературным агентом. То есть выполняла все то, чем занималась моя хозяйка Мария Федоровна, пока жила вместе с Алексеем. Не будь Катерина Павловна, мать Максима, такой ограниченной и знай она языки, всеми этими делами могла бы вестись и она. Алексея больше интересовал его личный комфорт, чем интимная жизнь. Ведь найти женщину можно в любой момент, гораздо труднее найти секретаршу, способную выполнять самые разнообразные, в том числе щекотливые, поручения.

Как раз в это время Алексей организовал Помгол, Комиссию помощи голодающим. Привлек русских и зарубежных ученых, деятелей культуры, писателей и политиков, и за-

падные государства, которые еще недавно воевали с Советской Россией, стали оказывать ей безвозмездную продовольственную помощь. Но Ленин считал эту акцию “ненужной шумихой” и был в ярости от вмешательства иностранцев во внутренние дела страны. Летом 1921 года в комиссии было семьдесят с лишним человек, в том числе крупные ученые и наименее твердокаменные члены ЦК. Ученых обвинили в антисоветской деятельности и в 1922 году многих выслали из страны на “философском пароходе”. Некоторых выслали в индивидуальном порядке. И этим еще повезло, потому что оставшиеся были арестованы. После первого покушения на Ленина в 1918 году в ходе красного террора казнили тысячами – людей, которые к провокации ВЧК отношения не имели, а вся их вина состояла в том, что они были интеллигентами, которых большевики ненавидели. Ленин говорил Марии Федоровне буквально так: нельзя их не арестовывать, во избежание заговоров всю кадетскую шатию надо брать вместе с их окружением. Они могут поддержать заговорщиков. Не арестовывать их – это преступление.

Могут поддержать – то есть пока что не поддержали.

Некоторых из арестованных членов Помгола потом расстреляли.

Их арест создал впечатление, будто Горький, как какой-нибудь провокатор, сознательно заманил в ловушку лучших интеллигентов, чтобы ЧК могла повязать их как агентов империализма и прислужников иностранных держав. В

организации Помгола участвовал цвет российской интеллигенции, может быть, потому Ленин и разрешил их привлечь, чтобы потом нанести удар, а его возмущение было чистой воды притворством. От отчаяния Алексей решил эмигрировать. Он видел, что миллионы смертей, которые можно было предотвратить, большевиков не волнуют, им важно только сохранение безграничной власти. А на сливки интеллигенции, от которой зависит подъем страны, им плевать, придут новые кадры, бездарные неучи, карьеристы, что с того, что некомпетентные, главное, чтобы верно служили власти. И то, что крестьяне из-за реквизиций перестали пахать, тоже их не волнует, пусть погибают с голоду, и пролетарии в городах пускай мрут, народу у нас достаточно.

Алексей выехал из России в сторону Гельсингфорса 16 октября 1921 года – в специальном поезде, в который были погружены все его вещи. Он был уже немолод, 53 лет, и к тому же с серьезным заболеванием легких. Ракицкий отправился с ним. Максим был уже в Берлине, где его пристроили дипкурьером, а Мура присоединилась к Алексею в Гельсингфорсе.

Мне было жаль, что я больше не увижу его, но, с другой стороны, я испытала и облегчение оттого, что порвалась последняя тонкая ниточка, привязывавшая меня к Алексею. Мария Федоровна в сопровождении Крючкова уехала в Берлин еще раньше, ей поручили заняться там сбытом изделий советских кустарных промыслов. Занятие не ахти какое, к

театру, конечно же, отношения не имеющее. Недоброжелатели постарались услатить ее как можно дальше, а в Наркомате иностранных дел работали товарищи, которые вряд ли видели ее на сцене.

Я работала медсестрой, без отрыва от основной работы окончила институт, получив специальность акушерки-гинеколога, работы было невпроворот, не хватало лекарств, инструментов, бюджета, только больных и рожениц было хоть отбавляй. На себя мне денег хватало, ни в чьей помощи я не нуждалась; хоть и поздно, но стала самостоятельным человеком.

А через пять лет за мной пришли. Вся больница, медсестры, врачи, наблюдали в окна за тем, как меня заталкивают в машину. Привезли на Лубянку, где меня принял Менжинский. Он был очень похож на Сталина, чья фотография висела над его головой на стене. Он сказал, что товарищ Горький нуждается в медицинском уходе и что он может довериться только мне. Он просил, чтобы меня прислали к нему. Я должна беречь его пуще глаза, потому что товарищ Горький остро необходим советскому народу и международному рабочему движению. Товарищ Сталин просил передать товарищу Чертковой свой привет.

Я попробовала отказаться, дескать, я все же не пульмонолог. Они знают, сказал он. Но у нас дефицит врачей, сказала я. Это им тоже известно, ответил он; то, о чем он меня попросил, – не обычная просьба, а партийное поручение. Я

могла на это сказать, что никогда не была членом партии, но ведь наверняка они знали это и без меня. Я только спросила, можно ли мне попрощаться с коллегами и больными, на что было сказано, что нельзя.

Ехали мы через Варшаву и Вену, паспорт с визами мне привезли на вокзал двое чекистов. Я была налегке, так что в Вене купили мне два чемодана, а в Риме закупили всяческого добра, белья, комбинаций, бюстгальтеров целыми дюжинами, заставив потом расписаться, что я у них все приняла.

На вокзале в Неаполе меня встретил Максим с мотоциклетными очками на лбу, расцеловал меня, ах, Чертовка, как же здорово, что ты наконец-то здесь. Это меня Алексей так звал, по фамилии я ведь Черткова, вот он и придумал мне прозвище. Чекисты попросили и Максима расписаться в том, что принял меня с рук на руки, и уселись на станции дожидаться обратного поезда в Рим. Перед вокзалом Максим помог мне забраться в люльку мотоциклетки, слева от его седла, взгромоздил на колени мне чемодан, застегнул кожаный шлем, натянул очки, в которых он выглядел как головастик, и мы помчались.

Остановились у виллы – большой, каменной, увитой диким виноградом. Максим взял чемодан, навстречу нам выскочили собаки, за ними – девчушка. Максим подхватил ее: это Липочка, Марфа, она будет с тобой играть!

Из дома высыпали остальные, пыхтя, выкатился дородный Ракицкий, за ним – молодая женщина, Тимоша, мать Марфы

и жена Максима, которая мне показалась уж слишком красивой.

Алексей арендовал в доме одиннадцать комнат, а всего в нем было четырнадцать. По соседству находился отель “Минерва”, куда тоже, случалось, селили наших гостей. Потому что поток их не иссякал почти никогда: писатели из России и эмиграции, ученые и артисты, журналисты, политики, друзья и враги, ну и врачи, о приезде которых Менжинский никогда не предупреждал нас. Мария Федоровна говорила мне: когда они жили на Капри, до 1913 года, там тоже была уйма гостей, писателей да большевиков, которые месяцами жили за Алексеев счет. В Сорренто из комнат верхнего этажа открывался вид на залив, на Везувий, на Позиллипо, Неаполь и Поццуоли – завораживающая красота, хотя я восторгалась ею не так, как другие, потому что мне и в Крыму очень нравилось, куда мы часто наезжали с хозяйкой, когда там еще не было все застроено.

Максим показал мне дом и крутую лестницу, по которой они спускались на берег, провел к теннисному корту в глубине сада. Дука сам не играет, сказал Максим, но любит смотреть. Дукой, то есть вождем, он прозвал отца в Петрограде, после войны, но еще до того, как к власти в Италии пришел Муссолини, который стал называть себя “дуче”, что то же самое, по примеру писателя Д’Аннунцио, первым присвоившего себе этот титул. Тимоша на корте была очень ловка, а появившаяся в Сорренто позднее Мура, которую в дет-

стве, конечно же, обучали балету, необычайно изящно двигалась. Невероятно забавным был увалень Ракицкий, который то плюхался через сетку, то тыкался в ограждение. Теннис – развлечение чисто барское, не подходило оно Алексею. Да он и не играл, а рассеянно наблюдал за другими как бы из чувства долга. И хотя народу у нас гостило порядочно, жизнь наша протекала довольно однообразно, мы жили словно в роскошной тюрьме, в которой мы были одновременно и заключенными, и тюремщиками.

Алексей занимал самую большую комнату наверху, три окна которой выходили на северо-запад. Тут был камин, кроме того, отопление было еще в двух комнатах, а обитателям остальных приходилось жестоко мерзнуть. Климат в Сорренто, надо сказать, не радовал, с осени до весны – сырость и холод, что было противопоказано для Алексеева ревматизма и, конечно же, очень вредно для легких. Дрова мы не закупали, прислуга собирала в окрестностях опавшие оливковые ветки, но горели они отвратительно. Ванная в доме была одна, наверху, и очень маленькая, водопровода в ней не было, только таз для умывания, воду в дом носила прислуга. Туалет тоже был наверху, попасть в него можно было через общий балкон. Я, как и остальные, пользовалась уборной в саду, туалетом пользовался только Алексей. Спал он плохо и выходил по пять-шесть раз за ночь, а судно и утку терпеть не мог.

Самым большим преимуществом дома была дешевизна,

его сдавали в аренду за 6000 лир в год. Это примерно 150 долларов, у Алексея же годовой доход был около 10 тысяч долларов. Деньги в доме часто переводили в уме из одной валюты в другую. Мура рассказывала, что в Париже можно прожить на 600 франков в месяц, из них половина уйдет на жилье. Дом в Сорренто снимали за 5000 франков в год, таким образом, получалось, что в “Иль Сорито”, как называлась вилла, одна комната обходилась в десять раз дешевле, чем меблированная комната в Париже. Итальянцы в ту пору все бедствовали, в том числе и наши хозяева, даром что были герцогами, так что много они не запрашивали.

Наверху находилась столовая, из которой открывались четыре комнаты. Комната Алексея выходила на одну из больших террас, напротив окна стояли стол со стулом, позади стула в стене была дверь, которая вела в угловую комнату Муры. Кроме того, в верхнем этаже находились еще две большие комнаты и одна поменьше. К Муре можно было попасть также из столовой. Меня поселили в небольшой комнате, что выходила на юго-запад. Оттуда тоже можно было попасть в столовую, так что через меня ходили все кому не лень. Правда, я бывала там только ночью, да и то не всегда, потому что приходилось присматривать за Алексеем, днем же я помогала на кухне. Наискосок от Алексеевой комнаты, на юго-восточной стороне дома, было две смежных комнаты. За год до моего приезда в них в течение двух лет жили Ходасевич и его жена Берберова, но потом они все же обос-

новались в Париже, решив, что лучше голодать там, чем сидеть на шее у Горького; в этом смысле они были уникальны. Бывшая комната Ходасевича выходила на вторую большую террасу. Гости, чтобы не мешать Алексею, чаще всего собирались там. На первом этаже был небольшой холл, справа от него жили Максим с Тимошей, а слева, прямо под комнатой Муры, – Ракицкий. Остальные комнаты, к которым вел небольшой коридор, занимали хозяева.

Дочери герцога ди Серракаприола, Матильда и Елена, напоминали портовых торговков, даже одевались так же. Но были очень любезны, как, кстати, и герцог, живший в Сорренто. От скуки он иногда навещался к своим дочерям или, скорее, к нам, иногда на автомобиле, а иногда пешком, потому что от города мы жили в полутора километрах. В первую же неделю служанки взяли меня с собой на рынок и без конца щебетали, по сто раз повторяя, как называется та или иная рыба, фрукт или овощ, а потом без конца повторяли это на кухне, так что вскоре я в итальянском поднаторела.

В комнате Алексея на стенах висели четыре портрета. Один изображал его, другой – Марфу, третий – Муру, а четвертый – Таню, девочку-подростка, дочь Муры, которая вместе со старшим братом Павлом, с их племянником и гувернанткой по имени Мисси год назад в течение нескольких месяцев отдыхала в Сорренто. Все портреты были написаны Валентиной Ходасевич.

Алексей встретил меня в своей комнате в красном бухар-

ском халате, надетом поверх вязаного жакета, в тубетейке, и, как раньше, одну за другой смолил папиросы. На письменном столе лежала бронзовая рука – кисть Муры, которую она заказала еще в Берлине в качестве своего подарка к его дню рождения. Он так и возил ее за собой повсюду, под конец даже в Тессели брал.

За пять лет Алексей сильно сдал. Шея втянута в острые плечи, грудь впалая, щеки ввалились, вокруг глаз морщины, в обвислых усах, почти сплошь седых, лишь для виду еще сохранялась пара рыжих волосков. Голубые глаза, правда, ярко лучились, но под ними темнели круги. Кислородное голодание. И голос совсем хриплый. У меня было ощущение, что в любой момент он может умереть. Ему тогда было пятьдесят восемь. Если бы мы не встретились, то в памяти, наверное, сохранилось бы его молодое лицо, нахальное и самоуверенное. Тяжело было видеть, что он превратился в ходячий скелет, и не знаю, правильно ли я поступила, согласившись взвалить на себя те годы, которые ему еще оставались.

Я не была при нем лишней, хотя рядом, сменяя один другого, всегда находились присланные из СССР доктора. Не зная удержу в своем врачебном раже, они назначали ему вредные терапии, и мне приходилось быть начеку и незаметно их саботировать. Едва приехав, каждый новый врач с порога отметал назначения своего предшественника и придумывал что-нибудь совершенно новое, требуя строгого соблюдения своих предписаний, хотя все они знали, что от ту-

беркулеза лекарства нет. Надо просто следить за тем, чтобы пациент не заболел бронхитом, не простужался и достаточно хорошо питался. Я видела пациентов, которых сгубило богатство, они слишком щедро тратились на врачей. И для них было бы гораздо лучше оставаться бедными. На Алексею уж точно паразитировали вовсю. Не всякий в Советском Союзе имел возможность отправиться за государственный счет за границу и неделями, месяцами как у Христа за пазухой жить в Сорренто да кататься туда-сюда по Европе. Когда Алексею делалось плохо, что случалось нередко, я вкалывала ему камфару, и ему становилось легче. Уколы ему всегда делала я. Вводить лекарства было моей обязанностью, светила медицины такими мелочами не занимались, они даже ухо к его грудной клетке не прикладывали, а могли бы услышать там совершенно невероятные хрипы да свисты. В доме даже стетоскопа не было, пришлось умолять, чтоб купили.

Вечером, когда Тимоша привела меня на террасу, доктор Хольцман, знаменитый пульмонолог, который, как я заметила, очень уютно чувствовал себя в домашних тапочках, сидя протянул мне свою пятерню и тут же отвернулся. А профессор Сперанский обаятельно улыбнулся и, вперив глаза куда-то вдаль, сказал: “Много слышал о вас, сестричка”.

Сперанский беспрерывно о чем-то философствовал. А это ужасно, когда врач философствует, хуже – только когда этим занимается писатель. У Алексея такое пристрастие тоже было, что их и сблизило со Сперанским. Они любили по-

говорить с ним о вечной жизни, о том, что в ближайшие годы будет найдено лекарство от смерти. Алексей в это верил, хотя сам же смеялся над своей глупостью. Он активно продвигал идею создания Института человека, и несколько лет спустя Сперанский стал одним из руководителей созданного в Москве Института экспериментальной медицины.

Алексей верил в возможность воскрешения умерших. И был в этой вере не одинок. Уж на что умный человек был Красин, давний друг Марии Федоровны и Алексея, но и он всерьез полагал, что со временем можно будет воскресить Ленина. Это была его идея – законсервировать тело, чтобы, когда созреет наука, можно было его оживить. А ведь как сокрушались в восемнадцатом году в Петрограде Красин и Алексей – дескать, какие кретины эти большевики, в особенности Ленин, Каменев и Зиновьев, которые ни в чем ни черта не смыслят и наносят громадный вред. Перед этим Красин работал инженером в Германии, и его сильнее, чем многих других, бесила некомпетентность. Зиновьев на заседании ЦК, где Красин ругал дилетантов, заявил, что слово “некомпетентность” надо вышвырнуть из лексикона. Красин не мог добиться, чтобы страна взяла иностранный заем. Индустриализации – да, внешним займам – нет, в ярости заявил Ленин, которому было неважно, что мрет народ. Заимствования – это ограничение власти большевиков, а Ленина интересовала лишь абсолютная власть и больше ничего.

К ужину КATALDO надел на голову белый колпак. Он уже

двадцать лет назад был поваром на Капри, и теперь фашисты разрешили ему опять служить Алексею. Он много болтал со мной. Когда он поинтересовался у Алексея, как он зовет меня, тот перевел Чертовку на итальянский, получилось – Diàvola. Но Максим не был этим удовлетворен и добавил еще уменьшительный суффикс. Вообще-то такого слова в итальянском нет, но дочери герцога были от него в восторге, так и стали звать меня Дьяволиной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.